

Francis Scott
FITZGERALD
1896 – 1940

Фрэнсис Скотт
ФИЦДЖЕРАЛЬД

*Прекрасные
и проклятые*

Роман



Санкт-Петербург

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44
Ф 66

Перевод с английского Владимира Щенникова

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

- © В. Щенников (наследник), перевод, примечания, 2019
- © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-07838-3

Книга 1

Глава 1

ЭНТОНИ ПЭТЧ

В 1913 году, когда Энтони Пэтчу было двадцать пять, сравнялось уже два года тому, как на него, по крайней мере теоретически, снизошла ирония, этот Дух Святой наших дней. Эта ирония была как идеальный глянец на ботинке, как последнее касание одежной щетки, что-то вроде интеллектуального «алле». И все же в начале нашей истории он еще не продвинулся дальше стадии пробуждения сознания. Когда вы видите его в первый раз, он еще частенько интересуется тем, не окончательно ли он лишен благородства и в полном ли он рассудке, не представляет ли собой некой постыдной и неприличной необязательности, блещущей на поверхности мира, словно радужное пятно на воде. Естественно, эти периоды сменялись другими, когда он считал себя вполне исключительным молодым человеком, в достаточной мере утонченным, прекрасно подходящим к доставшейся ему среде обитания и в чем-то даже более значительным, чем кто бы то ни было.

Это было его здоровое состояние, и тогда он бывал веселым, приятным и весьма привлекательным для неглупых мужчин и всех без исключения женщин. Пребывая в этом состоянии, он считал, что наступит день, и он совершит какое-нибудь тонкое и негромкое дело, которое должным образом оценят избранные, а потом, пройдя остаток жизненной дороги, присоединится к не самым ярким звездам в туманной неопределенности небес, на полпути между бессмертием и смертью. А пока время для этого усилия еще не наступило, он будет просто Энтони Пэтчем — не портретом человека вообще, а живой развивающейся лично-

стью, не лишенной некоторого упрямства и презрительности к окружающим, даже достаточно своевольной личностью, которая, сознавая, что чести не существует, все же хранит ее и, понимая всю призрачность мужества, все же рискует быть отважной.

Достойный человек и его одаренный сын

Будучи внуком Адама Дж. Пэтча, Энтони впитал в себя примерно такое же количество осознания неизбежности своего социального положения, как если бы вел свой род из-за океана, прямо от крестоносцев. Это просто неизбежно; графы Виргинские и Бостонские, что ни говори, — аристократия, выросшая на деньгах, деньги первым делом и почитает.

Так вот, Адам Дж. Пэтч, в обиходе более известный как Сердитый Пэтч, покинул ферму своего отца в Территауне в начале 1861 года, чтоб записаться в Нью-Йоркский кавалерийский полк. С войны он вернулся майором, твердой ногой ступил на Уолл-стрит и, среди тамошних суматохи и нервотрепки, одобрения и недоброжелательства, сумел скопить что-то около семидесяти пяти миллионов.

Этому он отдавал всю свою жизненную энергию до пятидесяти семи лет, ибо именно в этом возрасте, после жестокого приступа склероза, решил посвятить остаток своей жизни моральному обновлению человечества. Он сделался реформатором из реформаторов. Стремясь превзойти непревзойденные достижения в этой области Энтони Комстока, в честь которого и был назван внук, он обрушивал целые серии апперкотов и прямых на литературу и пьянство, искусство и порок, патентованные лекарства и воскресные театры. Под влиянием злой плесени, избежать которой удастся с возрастом лишь очень немногим мозгам, он с жаром откликался на любое общественное возмущение эпохи. Из кресла в кабинете территаунского поместья он повел против необъятного гипотетического врага, имя которому было нечестивость, настоящую воен-

ную кампанию, длившуюся пятнадцать лет. В этой кампании Адам Пэтч проявил себя бойцом неистово упорным и смертельно всем надоевшим. Но к тому времени, где берет начало эта история, силы его поиссякли, кампания рассыпалась на отдельные беспорядочные стычки, и все чаще год нынешний, 1895-й, туманили видения давно ушедшего 1861-го, мысли все охотнее обращались к событиям Гражданской войны и все реже к умершим жене и сыну, а уж к внуку Энтони — и вовсе нечасто.

В самом начале своей карьеры Адам Пэтч женился на Алисии Уитерс, анемичной женщине лет тридцати, которая принесла ему сто тысяч долларов приданого и обеспечила беспрепятственный доступ в банковские круги Нью-Йорка. Почти немедленно и весьма отважно она родила ему сына и, как бы обессилив от величия содеянного, с тех пор ступала в сумрачных пространствах детской. Мальчик же, Адам Улисс Пэтч, сделался со временем завсегдатаем клубов, знатоком хорошего тона и ездом на тандемах, а в возрасте двадцати шести лет несколько несвоевременно начал писать мемуары под названием «Нью-Йоркский свет, каким я его знал». Судя по слухам, концепция произведения была весьма любопытна, и среди издателей началась настоящая битва за право на издание, но после его смерти оказалось, что рукопись непомерно многословна и ошеломляюще скучна, так что ее отказались печатать даже за счет автора.

Женился этот лорд Честерфильд Пятой авеню в двадцать два года. Женой его стала Генриетта Лебрюн — «контральто бостонского света», а единственный плод этого союза по требованию деда был окрещен как Энтони Комсток Пэтч. Однако к тому времени, когда Энтони поступил в Гарвард, это «Комсток» как-то само собой изъясилось из его имени и погрузилось в столь глубокое забвение, что никогда уже не всплывало.

В молодости у Энтони была фотография, на которой его родители снялись вместе. В детстве она так часто попадалась ему на глаза, что постепенно приобрела безликость

предмета мебелировки, но у того, кто попадал в спальню Энтони первый раз, этот снимок мог вызвать определенный интерес. На нем, подле темноволосой дамы с муфтой и намеком на турниюр, был изображен сухощавый, приятной наружности светский щеголь образца девяностых годов. Между ними помещался маленький мальчик в длинных темно-русых кудряшках и бархатном костюмчике «а-ля лорд Фаунтлерой». Это был Энтони в возрасте пяти лет — в год, когда умерла его мать.

Его воспоминания о «бостонском контральто» были смутны и музыкальны. Она представлялась женщиной, которая только и делала, что пела в музыкальной гостиной их дома на Вашингтон-сквер; иногда окруженная россыпью гостей — мужчин со скрещенными руками, примостившихся, затаив дыхание, на краешках диванов, женщин с уложенными на коленях ладонями и что-то время от времени едва слышно шептавших мужчинам, зато всегда очень громко аплодировавших и после каждой песни издававших воркующие вскрики. Нередко она пела только для Энтони — по-итальянски, по-французски или на чудовищном диалекте, которым, как она считала, пользуются негры-южане.

Воспоминания об элегантном Улиссе, который первым в Америке отвернул лацканы своего пиджака, были более жизнеподобны. После того как Генриетта Лебрюн Пэтч «перешла в другой хор», как замечал прерывающимся время от времени голосом ее вдовец, отец и сын перебрались на жительство в Территаун к деду. Улисс ежедневно заходил к Энтони в детскую и порой проводил там около часу, наполняя пространство вокруг себя приятными, густо пахнущими словами. Он без конца обещал взять Энтони с собой на охоту, на рыбалку и даже провести денек вместе в Атлантик-Сити — «да, теперь уже совсем скоро», — но ничему из этого не суждено было осуществиться. Хотя одно-единственное путешествие они все-таки совершили. Когда Энтони исполнилось одиннадцать лет, они отправились за границу, в Англию и Швейцарию, и там, в луч-

шем отеле Люцерна, среди мокрых от пота простыней, что-то неразборчиво бормоча и отчаянно моля о глотке воздуха, его отец умер. Домой в Америку Энтони был доставлен в состоянии полубезумного отчаяния, и с тех пор беспричинная меланхолия сделалась его спутницей на всю жизнь.

Герой, его личность и прошлое

Одиннадцатилетним он уже знал, что такое ужас смерти. В течение шести больше всего запоминающихся ребенку лет один за другим умерли родители; как-то совсем незаметно делалась все бесплотнее бабушка, пока однажды, впервые за все годы замужества, не стала вдруг на один день полновластной хозяйкой в собственной гостиной. Немудрено, что жизнь представлялась Энтони постоянной борьбой со смертью, которая таилась за каждым углом. У него появилась привычка читать в постели; это отвлекало, хоть и было, по сути, уступкой болезненному воображению. Он читал, пока не слипались глаза, и часенечко засыпал, не погасив света.

Лет до четырнадцати его любимым развлечением и в то же время огромной, почти всепоглощающей мальчишеской страстью было собирание марок. Дед, не вдаваясь в подробности, считал, что такое увлечение способствует изучению географии, поэтому Энтони завел переписку с полудюжиной филателистических фирм, и редкий день почта не приносила ему новых наборов марок либо пачки глянцевоцветных рекламных проспектов. Занимаясь бесконечным переключением своих приобретений из одного альбома в другой, он получал неизъяснимое, таинственное наслаждение. Марки сделались величайшей радостью его жизни; всякого, кто пытался вмешаться в его филателистические игры, он награждал хмурым и нетерпеливым взглядом. Марки пожирали все его карманные деньги, он мог проводить с ними ночи напролет, не уставая поражаться их разнообразию и многоцветному великолепию.

К шестнадцати годам он почти целиком погрузился в свой внутренний мир, сделавшись таким молчаливым, совсем не похожим на американца юношей, воспринимавшим окружающих с вежливым недоумением. Два предшествовавших года были проведены в Европе с наемным учителем, который убедил его, что продолжать образование стоит только в Гарварде; это откроет ему «все двери», несказанно закалит его дух, не говоря уже о том, что принесет массу самоотверженных и преданных друзей. Поэтому он и отправился в Гарвард, и это был, пожалуй, единственный поступок, который он совершил, повинувшись логике.

Какое-то время он жил отшельником в одной из лучших комнат Бек-Холла, мало заботясь мнением окружающих о себе, — стройный темноволосый юноша среднего роста с лишенным твердости чутким ртом. Недостатка в деньгах он не испытывал и решил, не откладывая, положить начало собственной библиотеке, приобретя у некоего странствующего библиофила, кроме первых изданий Суинберна, Мередита и Харди, пожелтевшее от времени, неразборчивое письмо Китса, и лишь много позже обнаружил, какую несусветную цену за все это заплатил. Он сделался завзятым щеголем, заведя для этой цели не вызывающую ничего, кроме жалости, коллекцию шелковых пижам, парчовых халатов и галстуков, слишком, правда, ярких, чтоб в них можно было появиться на людях. Зато он мог рассказывать во всем этом потаенном великолепии перед зеркалом у себя в комнате или, облачась в атлас, вольно раскинуться на кушетке и смотреть вниз, во двор, нечувствительно постигая суматошную быстротечность заоконной жизни, частью которой ему, по всей видимости, не суждено было стать.

На последнем курсе он с немалым удивлением обнаружил, что не совсем безразличен сокурсникам. Оказалось, что его почитали фигурой довольно романтической, таким столпом эрудированности, помесью затворника и книгочея. Это, в общем-то, изумило, но втайне и порадовало — он начал появляться в обществе, сначала понемногу, потом

все больше. Участвовал во всех рождественских пудингах. Он пил — не афишируя особо, но и не отставая от других. О нем стали говорить, что если б он не поступил в университет так рано, то «мог бы закончить курс с отличием». В 1909 году, когда он закончил Гарвард, ему было всего двадцать лет.

Потом опять была граница — на этот раз Рим, где он поочередно флиртовал с живописью и архитектурой, брал уроки игры на скрипке и написал несколько ужасных итальянских сонетов, призванных явить собой рассуждения средневекового монаха о радостях созерцательной жизни. Весть о том, что он в Риме, распространилась среди его приятелей по Гарварду, и те из них, кто оказался в том году в Европе, охотно заезжали к нему и в частых прогулках лунными ночами многое открывали для себя в этом городе, который был старше не только Возрождения, но и вообще самой идеи республики. Мори Нобл из Филадельфии, например, гостил целых два месяца; они вместе постигали своеобразное очарование итальянок и обретали восхитительное чувство быть юными и свободными среди культуры, которая была свободна уже тысячи лет. Нередко его навещали знакомые деда, и, возмем Энтони желание, он вполне мог бы стать *persona grata* в дипломатических кругах; и хотя он сам начинал понимать, что праздник жизни все больше нравится ему, от юношеской привычки к затворничеству и явившейся следствием этого застенчивости не так-то легко было избавиться.

Он вернулся в Америку в 1912 году из-за очередной внезапной болезни деда и после чрезвычайно утомительного разговора с неизбежно выздоравливающим стариком решил до его смерти расстаться с идеей о постоянном жительстве за границей. После длительных поисков он снял на Пятьдесят второй улице квартиру и на том, по крайней мере внешне, успокоился.

В 1913 году процесс приспособления Энтони Пэтча к окружающей среде достиг завершающей стадии. Внешний облик его по сравнению со студенческими днями за-

метно изменился к лучшему — оставаясь все еще излишне худощавым, он раздался в плечах, и со смуглого лица исчезло испуганное выражение студента-первокурсника. Он был всегда с иголки одет и в глубине души даже педантичен; друзья утверждали, что никогда не видели его непричесанным. Нос у него был чуть островат, а слишком откровенный рот, готовый опустить уголки даже в минуты самого легкого уныния, являл собой одно из не слишком приятных для владельца зеркал настроений; зато его голубые глаза были равно очаровательны и оживленные острой мыслью, и полуприкрытые в минуты меланхолии.

Хотя черты его и не были отмечены той симметрией, которая так важна для арийского идеала, некоторые все же находили его красивым, но гораздо большее значение имело то, что и по виду, и по сути он был чист той особой чистотой, которая бывает только у людей красивых.

Его безупречная квартира

Пятая и Шестая авеню представлялись Энтони стойками гигантской лестницы, брошенной от Вашингтон-сквер до Центрального парка. Путешествие на крыше автобуса на север, до Пятьдесят второй улицы, неизменно вызывало ощущение, что он взбирается по шатким перекладинам, по очереди вцепляясь в каждую из них, и когда автобус останавливался на его собственной, он, спускаясь по безрассудно-крутым металлическим ступеням на тротуар, испытывал что-то сродни облегчению.

После этого ему оставалось пройти полквартала по Пятьдесят второй улице мимо тяжеловесных особняков из бурого кирпича, и он единым духом оказывался под высокими сводами своей лучшей в мире гостиной. Она нравилась ему во всех отношениях. Здесь, собственно, и начиналась жизнь. Здесь он спал, завтракал, читал, здесь принимал гостей.

В целом же дом, в котором он квартировал, построенный в конце девяностых годов из темного камня, постепенно был полностью перестроен в угоду растущей потребности

в небольших квартирах и теперь сдавался по частям. Из четырех квартир та, которую занимал на втором этаже Энтони, была самой приличной.

В гостиной были прекрасные потолки, три огромных окна открывали приятный вид на Пятьдесят вторую улицу. Убранству комнаты удалось избежать четкой печати какой-либо эпохи; она была без лишней мебели, без голой пустоты, без явных признаков упадка. Не пахла ни серой, ни ладаном — была просто вместительная и, может быть, чуточку грустная. В ней помещался диван из мягчайшей коричневой кожи, обьятый текучим туманом дремоты. В ней стояла высокая китайская ширма, украшенная черно-золотистой лаковой росписью, изображавшей напоминающих геометрические фигуры охотников и рыболовов; она выгораживала в углу нишу для массивного кресла, возле которого стоял на карауле оранжевый торшер. И еще был камин, на задней стенке которого просматривался какой-то обгоревший до черноты герб.

Пройдя через столовую, которая, в силу того что Энтони только завтракал дома, являла собой лишь величественный символ таковой, и миновав сравнительно просторную прихожую, можно было попасть в святая святых жилища — спальню и ванную.

Обе они были необъятны. Под сводами первой даже огромная, увенчанная пологом кровать казалась весьма средних размеров. Раскинувшийся на полу восточный ковер из алого бархата ласкал босую ногу, словно небесная кудель. Ванная комната, в противовес сумрачному колориту спальни, была цветистой, легкомысленно гостеприимной и даже чуть игривой. На стенах ее помещались взятые в рамки фотографии четырех увенчанных за последнее время жриц Мельпомены: Джулия Сандерсон в «Солнечной девчонке», Айна Клер в «Юной квакерше», Билли Бёрк в «Недотроге» и Хейзл Дон как «Дама в розовом». Между Билли Бёрк и Хейзл Дон висела репродукция, изображающая бескрайний заснеженный простор, освещаемый огромным, зловещего вида солнцем. Она, по словам Энтони, символизировала холодный душ.

Ванна, оборудованная оригинальным и удобным держателем для книг, была просторна и вделана почти вровень с полом. Стенной шкаф рядом с ней ломился от белья, которого вполне хватило бы на троих, и целых залежей галстуков. Здесь не было грустнославного истертого коврика, похожего на полотенце, брошенное на пол; мокрую ногу, явившуюся из ванной, массировало несказанной мягкостью такое же чудо коврового искусства, что и возлежавшее в спальне...

Одним словом, это была главная арена священнодействия. Легко было заметить, что именно здесь Энтони переодевается, здесь же доводит до совершенства свою прическу, в общем, делает практически все, разве что не спит и не ест. Эта ванная комната была его гордостью. Он знал, что, если б у него была возлюбленная, он повесил бы ее портрет прямо над ванной, чтоб, растворяясь в баюкающих волнах горячего пара, можно было лежать и взирать на нее снизу вверх, в тепле и неге созерцая ее красоту.

И времени не тратя даром

Порядок в квартире поддерживал слуга-англичанин с удивительно, до нарочитости подходящей ему фамилией Баундс, чье совершенство нарушалось только тем фактом, что он носил мягкий воротничок. Если бы Баундс целиком принадлежал ему, Энтони в конце концов добился бы устранения сего дефекта, но тот был Баундсом еще для двух джентльменов, живших по соседству. Но с восьми до одиннадцати утра Баундс был всецело в распоряжении Энтони. Он являлся с почтой и готовил завтрак. В девять тридцать он дергал за край одеяла Энтони и произносил несколько исполненных сдержанности слов. Энтони никогда не мог вспомнить, что это были за слова, но имел сильное подозрение, что почтительностью от них и не пахло. Потом Баундс накрывал завтрак на карточном столе в гостиной, убирал постель и, осведомившись с некоторой враждебностью, не нужно ли чего еще, удалялся.

По утрам, по крайней мере раз в неделю, Энтони навещал своего биржевого агента. С денег, оставленных матерью, он получал в виде процентов немногим меньше семи тысяч в год. Дед, который и собственному сыну не позволял переступить рамок весьма щедрого, надо сказать, содержания, считал, что этой суммы на нужды юного Энтони вполне достанет. Каждое Рождество он посылал внуку пятисотдолларовую облигацию, которую тот при первой же возможности продавал, потому что всегда, хоть и не остро, нуждался в деньгах.

Содержание этих визитов к брокеру могло колебаться от полусветской болтовни до обсуждения надежности вложений под восемь процентов, и они неизменно доставляли Энтони удовольствие. Само огромное здание трастовой компании, казалось, для того и существовало, чтоб он мог ощутить свою несомненную связь с теми огромными состояниями, чью сплоченность так уважал, чтоб убедить его в том, что и он надлежащим образом представлен в иерархии финансового мира. От этих вечно спешащих людей ему передавалось то самое чувство защищенности, которое он обретал, размышляя о богатстве деда; даже больше, ибо в его представлении те деньги были скорее некой ссудой до востребования, которую мир выдал Адаму Пэтчу за его личную высокоморальность, в то время как здешние капиталы казались, скорее, добычей, захваченной и удерживаемой только силой упорства и огромным усилием воли. Кроме того, эти деньги он ощущал более определенно и исключительно как деньги.

Хотя Энтони частенько доводилось наступать на пятки собственному бюджету, все же он считал себя достаточно обеспеченным. Конечно, в один прекрасный, без преувеличения можно сказать, «золотой» день у него будет куча денег, а пока оправданием его существования были замыслы создания нескольких эссе о римских папах эпохи Возрождения. Это и возвращает нас к сцене разговора Энтони с дедом сразу после прибытия из Рима.

Он надеялся не застать деда в живых, но, позвонив прямо с причала, узнал, что Адам Пэтч вновь пребывает

в сравнительно добром здравии, и на следующий день, скрывая разочарование, отправился в Территаун. Преодолев пять миль от станции, такси въехало на тщательно ухоженную дорожку, которая стала пробираться среди настоящего лабиринта из стен и проволочных заборов. Все это было следствием того, догадывалась публика, что если социалисты добьются своего, то одним из первых людей, до кого они захотят добраться, — и это было тоже доподлинно известно — будет старина Сердитый Пэтч.

Энтони запаздывал, и почтенный филантроп, поджидая его на застекленной веранде, уже второй раз просматривал утренние газеты. Его личный секретарь Эдвард Шаттлуорт, бывший до своего перерождения азартным игроком, содержанием кабака и по всем параметрам негодяем, проводил Энтони в комнату, где и продемонстрировал ему, как бесценное сокровище, своего спасителя и благодетеля.

Они церемонно пожали друг другу руки.

— Я так рад был услышать, что вам лучше, — сказал Энтони.

С таким видом, словно не встречался с внуком всего неделю, Пэтч-старший вытащил из кармана часы.

— Что, поезд опоздал? — кротко осведомился он.

Хотя был явно раздосадован задержкой. Дед питал стойкую иллюзию не только относительно того, что сам в юности был образцом пунктуальности и доводил все начатое до последней точки, но также считал это прямой и главной причиной своего успеха.

— Поезда частенько опаздывают в этом месяце, — заметил он с тенью робкого укора в голосе, и после продолжительного вдоха добавил: — Садись.

Энтони разглядывал деда с тем немым изумлением, в которое его неизменно повергало сие зрелище. Невозможно было поверить, но власть этого тщедушного невежественного старика, вопреки заявлениям «желтых» журналов, была такова, что во всем государстве таких людей, чьи души он прямо или косвенно не мог купить, едва хва-

тило бы, чтоб заселить Уайт-Плейс. Еще труднее было поверить в то, что когда-то он был пухлым розовым младенцем.

Всю его семидесятипятилетнюю жизнь можно было уподобить неким волшебным кузнечным мехам — первая четверть века в избытке вдохнула в него жизнь, зато последняя теперь высасывала обратно. Она впиталась в его щеки, грудь, иссушила ноги и руки. Властно, один за другим отобрала все зубы, утопила и без того небольшие глазки в сизовато-серых мешках, выщипала волосы. Словно ребенок, усердствующий над коробкой с красками, она безрассудно перемешала все цвета: серое сделалось кое-где белым, а розовое безвозвратно пожелтело. Завладев телом и духом, она пошла в атаку на его мозг. Послала ему холодный ночной пот, беспричинные страхи и слезы, здравый смысл расщепила на подозрительность и легковёрность. Из добротной парусины его энтузиазма она выкроила десятки мелких, но мучительно-навязчивых вожделений; все его жизненные силы ужались до капризности несносного ребенка, а воля к власти заменилась пустым и инфантильным желанием обрести страну арф и песнопений здесь, на земле.

Когда процесс осмотрительного обмена необходимыми любезностями закончился, Энтони уяснил, что от него ждут четкой обрисовки собственных намерений; одновременно некий блеск в стариковских глазах предупреждал, что делиться своими намерениями осесть за границей не стоит, во всяком случае сейчас. Энтони очень хотелось, чтобы у ненавистного Шаттлуорта хватило такта хотя бы выйти из комнаты, но секретарь, непринужденно устроившись в кресле-качалке, переводил взгляд своих выцветших глаз с одного Пэтча на другого.

— Теперь, когда ты здесь, ты должен чем-нибудь заняться, — мягко вел дед, — достичь чего-нибудь.

Энтони ждал, что сейчас дед скажет «оставить что-то после себя». Тогда он решил высказаться:

— Я думал... Ну, мне казалось, что моя подготовка позволила бы мне написать...

Адам Пэтч сморщился, представив себе, что в семье завелся поэт с длинными волосами и тремя любовницами.

— ...что-нибудь на историческую тему, — закончил Энтони.

— Значит, по истории. Истории чего? Гражданской войны? Революции?

— Ну, не совсем, сэр. По истории Средних веков.

Именно в тот момент ему пришла идея написать что-нибудь о папах времен Возрождения с какой-нибудь новой точки зрения. Но он был рад, что произнес всего лишь «Средние века».

— Средние века? Но почему не о своей стране? О том, что ты знаешь?

— Видите ли, я так долго жил за границей...

— Не понимаю, почему ты должен писать об этих Средних веках. Мы привыкли называть их Темными веками. Никто не знает, что тогда происходило, да и никому это не интересно. Прошли, и ладно.

Он распространялся еще несколько минут о бесполезности таких знаний, коснувшись, естественно, испанской инквизиции и «разложения монашества». Потом изрек:

— А не взяться ли тебе за какую-нибудь работу в Нью-Йорке?.. Если ты, конечно, вообще намерен работать.

Последнее было сказано с мягким, почти неуловимым презрением.

— Да, конечно. Я намерен, сэр.

— И когда же ты закончишь?

— Ну, понимаете, это будет что-то вроде обзора... Много подготовительной работы. Нужно многое прочесть.

— А я-то подумал, ты только этим и занимался.

Их неровная беседа естественным образом и несколько внезапно прервалась, когда Энтони встал, посмотрел на часы и заметил, что договорился именно сегодня встретиться с брокером. Он собирался остаться у деда на несколько дней, но был утомлен и раздражен качкой на корабле и вовсе не хотел терпеть эту вкрадчиво-ханжескую надменность. Сказал, что заедет еще в ближайшее время.

Тем не менее именно благодаря этой встрече мысль о работе прочно вошла в его жизнь. За год, протекший с тех пор, он подготовил несколько списков источников, пытался даже прикинуть названия глав и наметить периодизацию, но ни одна строчка готового текста не появилась, и не было похоже, что когда-нибудь появится. Он не делал ничего — и вопреки прописной логике умудрялся извлекать из этого ничегонеделанья удовольствие.

День

Был октябрь 1913 года, и самая середина из череды прелестных дней, пронизанных бездельно слоняющимся в переулках солнечным разливом, напоенных томным воздухом, отягченным лишь неслышным падением листвы. Было приятно сидеть у распахнутого окна, заканчивая главу «Едгина». Было просто восхитительно часов в пять зевнуть, бросить книжку на стол и, мурлыкая себе под нос, направиться через прихожую в ванную.

К тебе... о... прекра-асная ле-ди, —

пел он, отворачивая кран.

Я устремляю свой... взор.

К тебе, о... прекра-асная ле-еди-и,

Им возношу свой укор...

Он возвысил голос, чтоб заглушить шум воды, льющейся в ванну, и, взглянув на фотографию Хейзл Дон, пристроил на плече воображаемую скрипку и нежно тронул ее призрачным смычком. Сквозь сомкнутые губы он издавал зудящий звук, который, как ему смутно казалось, напоминал звуки скрипки. Потом его руки прекратили вращательное движение и принялись расстегивать рубашку. Раздевшись и приняв атлетическую позу, как человек в тигровой шкуре, виденный им на какой-то афише, он с немалым удовлетворением осмотрел себя в зеркале, потом, бросив это дело, побултыхал ногой в ванне, пробуя воду.

Отрегулировав кран и выразив предвкушение серией нечленораздельных звуков, он скользнул внутрь.

Притерпевшись к температуре воды, он впал в состояние дремотного блаженства. После ванны требовалось всего-навсего не спеша одеться и отправиться по Пятой авеню к отелю «Ритц», где он договорился пообедать с двумя своими наиболее частыми сотрапезниками — Диком Кэрэмелом и Мори Ноблом. После обеда они с Мори Ноблом собирались пойти в театр, а Кэрэмел, скорее всего, отправится домой работать над своей книгой, которую ему надо было закончить.

Энтони был рад, что это не *ему* приходится работать над *своей* книгой. Сама идея о том, что нужно сидеть, придумывая не только слова для выражения мыслей, но и сами мысли, которые стоило бы облечь в слова, разительно не совпадала с его желаниями.

Явившись из ванны, он принялся с дотошностью чистильщика сапог наводить на себя глянец. Затем прошествовал в спальню и, насвистывая странную, неопределенную мелодию, долго ходил взад-вперед, застегиваясь, прихорашиваясь, просто наслаждаясь ласковым теплом толстого ковра.

Он прикурил, выбросил спичку через открытый верх окна, потом замер, не донеся сигареты двух дюймов до рта, также оставшегося слегка приоткрытым. Взгляд его приковало к себе яркое пятно на крыше одного из домов, расположенных дальше по переулку.

Это была девушка в красном, непременно шелковом пеньюаре, сушившая волосы на все еще жарком послеполуденном солнце. Свист его замер во внезапно сгустившемся воздухе комнаты, он сделал осторожный шаг к окну, вдруг осознав, что она прекрасна. На каменном парапете перед ней лежала подушка такого же цвета, как и пеньюар, опершись на нее локтями, девушка смотрела вниз, на залитую солнцем улицу, откуда доносились голоса играющих детей.

Несколько минут он не в состоянии был оторвать от нее взгляда. В нем что-то всколыхнулось, и здесь были ни

при чем ни мягкий аромат предвечерья, ни торжествующая броскость красного цвета. Он неотступно чувствовал, что девушка была прекрасна, потом вдруг понял: все дело было в ее удаленности. Не в той редкостной и драгоценной недоступности ее души, а просто в нескольких ярдах земного пространства. Просто между ними был осенний воздух, крыши и скомканые голоса детей. И все же в какое-то неизреченное мгновенье, скользнувшее против хода времени, он был ближе к чувству обожания, чем во время самого страстного поцелуя.

Он закончил свое одевание, нашел черный галстук-бабочку и тщательно приладил ее на себя перед трельяжем в ванной. Потом, повинувшись какому-то импульсу, быстро прошел в спальню и снова выглянул из окна. Теперь женщина стояла выпрямившись, откинув назад волосы, и он мог разглядеть ее всю. Она была толстая, старше тридцати пяти и абсолютно ничем не примечательная. Досадливо прищелкнув языком, он вернулся в ванную и занялся пробором.

К тебе... о, прекра-асная леги, —

пел он с легким чувством, —

Я устремляю... свой взор.

Проведя последний раз щеткой по волосам, отчего их блестящая поверхность обрела законченную гладкость, он вышел из ванной, потом из квартиры и направился по Пятой авеню к отелю «Ритц-Карлтон».

Трое мужчин

Семь часов. Энтони и его приятель Мори Нобл сидят за угловым столиком на прохладной крыше. Мори Нобл больше всего похож на большого, стройного, импозантного кота. В его прищуренных глазах постоянно бродят медлительно-томные искорки. Волосы у него гладкие и прямые, словно его обликала — а если так оно и было, то

представьте себе такую великаншу — мама-кошка. В годы учебы Энтони в Гарварде Мори считался самой примечательной фигурой в их группе — самый блестящий, самый оригинальный, умный, спокойный — словом, один из избранных.

Таков человек, которого Энтони считает своим лучшим другом. Это единственный из всех его знакомых, кем он восхищается и которому, больше чем сам себе в этом сознается, завидует.

Они так рады видеть друг друга. Глаза их исполнены доброты, и каждый в полной мере ощущает эффект новизны, вызванный недолгой разлукой. Они упиваются той безмятежной легкостью, которую черпают в обществе друг друга; Мори Нобл, скрывающийся за своим прекрасным и невероятно кошачьим лицом, только что не мурлычет от удовольствия, зато нервный и трепетный, как дрожащий на ветру огонек, Энтони наконец спокоен.

Они заняты одним из тех легких и ни к чему не обязывающих разговоров, который могут себе позволить только мужчины моложе тридцати или мужчины под влиянием сильного возбуждения.

Энтони. Семь часов, однако. А где же Кэрэмел? (*Нетерпеливо.*) Скорей бы уж он дописал свой нескончаемый роман. Я больше времени промучился голодом...

Мори. Он придумал ему новое название. «Демон-любовник». Неплохо, а?

Энтони (*заинтересованно*). Демон? А, ну да: «где женщина о демоне рыдала...» Но, в общем-то... В общем, ничего. Даже совсем неплохо, как ты думаешь?

Мори. Довольно прилично. Сколько времени, ты говоришь?

Энтони. Семь.

Мори (*прищуривается. Ничего особенного, просто чтоб выразить легкое неодобрение*). Довел меня на днях до белого каления.

Энтони. Как это?

Мори. Да его привычка все записывать.

Энтони. А, мне тоже досталось. Я, вчера кажется, сказал что-то, что показалось ему важным, но он забыл, что именно, вот и пристал ко мне. Говорит: «Неужели ты не можешь вспомнить?» Ну а я отвечаю: «Ты меня утомил до смерти. Почему я должен это помнить?»

Мори беззвучно смеется, растягивая все лицо в вежливую, немного лукавую ухмылку.

Мори. Дик ведь замечает не больше, чем другие. Просто может больше описать из того, что видит.

Энтони. Впечатляющий талант...

Мори. Да уж. Впечатляющий!

Энтони. И направленное в нужное русло честолюбие. А вообще с ним интересно — у него просто дар волновать и возбуждать. Часто от одного его присутствия дух захватывает.

Мори. О да.

Разговор продолжается после паузы.

Энтони (*говорит с выражением самой большой убежденности, какая только может возникнуть на его несколько неуверенном, худом лице*). Только нет у него неисчерпаемой энергии. Когда-нибудь, мало-помалу, его неукротимое честолюбие выветрится, а вместе с ним завянет и столь замечательный талант; останется обломок человека, раздражительный, болтливый и эгоцентричный.

Мори (*со смехом*). Вот мы сидим, убеждая друг друга, что малыш Дик не так глубоко проникает в суть вещей, как мы, а я готов поклясться, что он со своей стороны уверен в превосходстве творческого подхода над чисто критическим и всякое такое.

Энтони. Это — да. Но он не прав. Он слишком подвержен глупому энтузиазму. Если б он не был так озабочен своим реализмом и необходимостью в связи с этим рядиться в одежды циника, он стал бы... таким же легковерным, как любой из этих студенческих религиозных вожаков. Ведь он идеалист. Да я просто уверен. Хотя сам он думает на-

оборот, потому что отвергает христианство. Помнишь его в университете? Как он целиком заглывал всех писателей, одного за другим, — идеи, технику, персонажей. Чертон, Шоу, Уэллс — всех с одинаковой легкостью.

Мори (*все еще обдумывая свое последнее наблюдение*). Помню.

Энтони. И с этим не поспоришь. Фетишист по природе. Возьмем искусство...

Мори. Давай лучше закажем что-нибудь. Он...

Энтони. Конечно. Можно и заказать. Я ему говорил...

Мори. А вот и он. Смотри — кажется, хочет столкнуться с официантом. (*Поднимает палец, чтоб привлечь внимание, и даже палец его выглядит как вкрадчивый и дружелюбный кошачий коготь.*) Сюда, Кэрэмел.

Новый голос (*громко*). Привет, Мори. Здравствуй-те, Энтони Комсток Пэтч. Как поживает внук старого Адама? Дебютантки все еще толпами за тобой?

Ричард Кэрэмел, невысокий и светловолосый — один из тех, что к тридцати пяти лысеют. У него желто-карие глаза — один удивительно ясный, другой мутноватый, как грязная лужица, и выпуклый, словно у ребенка с карикатуры, лоб. Он топорщится и в других местах — пророчески выпячивается брюшко, слова тоже будто неловко выпячиваются из его рта, даже карманы его смокинга распухли, словно отекли, они заполнены обтрепанной коллекцией расписаний поездов, программками и прочим бумажным хламом, на котором он, сощуриив почти в щелочки свои непарные желтые глаза и призывая незанятой левой рукой к порядку, постоянно делает заметки.

Добравшись до стола, он за руку здоровается с Энтони и Мори. Он один из тех, кто неизменно здоровается за руку даже с теми, кого видел час назад.

Энтони. Привет, Кэрэмел. Как хорошо, что ты пришел. Нам так хотелось посмеяться и расслабиться.

Мори. Ты опоздал. Ловил по кварталу почтальона? А мы тут тебе косточки перемывали.

Ди к (*уставясь на Энтони своим ясным глазом*). Что ты сказал? Повтори, я запишу. Выбросил сегодня три тысячи слов из первой части.

Мори. Благородно. А я вот заливал алкоголь себе в желудок.

Дик. Не сомневаюсь. Держу пари, вы и тут все время только про выпивку болтаете.

Энтони. Но никогда не напиваемся до потери рассудка, мой безусый юноша.

Мори. И никогда не водим домой дам, которых встречаем в подпитии.

Энтони. И вообще, наши дружеские встречи отмечены высоким благородством.

Дик. Нет больших дураков, чем те, кто хвастается, что может много выпить! А вся ваша беда в том, что вы пьете по староанглийскому рецепту, на манер сквайров восемнадцатого века. Заливаете по маленькой, пока под стол не упадете. Какое уж тут веселье. Нет, это тоже не дело.

Энтони. Спорим, это из шестой главы.

Дик. В театр идете?

Мори. Да. Мы намерены провести этот вечер в глубоких размышлениях о жизненных проблемах. Вещь называется предельно кратко — «Женщина». Смею надеяться, что название оправдает себя.

Энтони. О боже! Неужели так и называется? Давай лучше сходим еще раз на «Безумства».

Мори. Мне надоело. Видел уже три раза. (*Обращаясь к Дик.*) Первый раз мы вышли в антракте и обнаружили изумительный бар. А когда вернулись, оказалось, что попали не в тот театр.

Энтони. Потом имели продолжительный диспут с перепуганной молодой парой, которая, как мы решили, заняла наши места.

Дик (*как бы про себя*). Думаю, вот закончу еще один роман и пьесу, и может быть, книгу рассказов, и надо бы мне музыкальную комедию написать.

Мори. Да, представляю — с такими умными песенками, что никто и слушать не станет. А все критики примутся ворчать и стенать о добром старом «Фартуке». А я буду все так же блистать, как лишенная всякого смысла фигура в совершенно бессмысленном мире.

Дик (*торжественно*). Искусство не бессмысленно.

Мори. Оно бессмысленно по самой своей сути. Но приобретает смысл тогда, когда пытаются сделать менее бессмысленной жизнь.

Энтони. Другими словами, Дик, удел твой — играть перед залом, заполненным привидениями.

Мори. Уж ты постарайся.

Энтони (*обращаясь к Мори*). Наоборот, зачем писать, если чувствуешь, что окружающее лишено какого бы то ни было смысла. Сама попытка отыскать в нем какой-либо смысл бессмысленна.

Дик. Ну, даже если допустить все это, стоит остаться прагматиком и поддерживать в несчастном человеке жизненный инстинкт. А вы хотите, чтоб все верили в вашу софистическую чепуху?

Энтони. Да, наверное.

Мори. Никак нет! Я считаю, что все население Америки, за исключением какой-нибудь избранной тысячи, нужно принудить принять строжайшую систему моральных ценностей, например католицизм. Я не осуждаю общепринятую мораль. Просто я недоволен, что все достижения спекулятивного способа мышления оседлали, усвоив позу моральной раскрепощенности, ни во что не верящие посредственности, отнюдь не уполномоченные на это своим интеллектом.

Здесь на сцену является суп, и то, что Мори, может быть, хотел сказать еще, так и осталось навеки несказанным.

Ночь

Потом они навестили торговца билетами и за немалую цену получили места на новую музыкальную комедию под названием «Шумные забавы». В фойе они немного задержались, чтоб обозреть валившую на премьеру толпу. Там двигались несметные стада накидок, состроченных из многоцветья шелков и мехов, капли самоцветных камней орошали руки и шеи, стекали с розово-белых ушей, неведомо

сколько муаровых лент мерцало на тулях бесчисленных шелковых шляпок, шагали туфельки цвета золота и бронзы, багряные и лаково-блестящей черноты, проплывало множество горделиво-высоких, туго укрученных женских причесок рядом с прилизанными, напомаженными волосами холеных мужчин — это было настоящее веселое людское море, которое искрилось, волновалось, болтало, смеялось, пенилось, медленно опадало и вновь вздымалось, вливая свой искрящийся поток в рукотворный омут веселья...

После представления они расстались — Мори пошел танцевать в «Шерриз», а Энтони отправился домой спать.

Медленно прокладывая свой путь среди вечерней толкотни Таймс-сквер, которую гонки колесниц и тысячи их приверженцев сделали необыкновенно яркой и красивой, почти карнавальной. Вокруг него мелькали лица, целый калейдоскоп девичьих лиц, и все безобразные, страшные как смертный грех — то слишком толстые, то слишком худые, — и все же плывущие в этом осеннем пространстве, как будто их несли на себе жаркие страстные вздохи, изливаемые прямо в ночь. Но несмотря на всю вульгарность этих лиц, Энтони чудилось, что в них тоже была какая-то загадка. Он дышал глубоко и размеренно, впуская в легкие пары косметики и не казавшийся таким уж неприятным густой табачный дух. Он поймал на себе взгляд молодой смуглой красавицы, одиноко сидевшей в закрытом такси. Глаза ее в полумраке наводили на мысль о ночи и фиалках, и вновь на какую-то долю секунды в нем ожило полузабытое уже чувство такого далекого теперь дня.

Мимо прошли два молодых еврея, громко разговаривая, по-птичьему вертя головами, бессмысленно-надменно глядя по сторонам. Одеты они были в слишком тесные, модные в определенных слоях общества костюмы; стоячие воротнички подпирали кадыки; обуты оба были в серые гетры и опирались на трости руками в серых перчатках.

Мелькнула ошеломленная старая леди, которую, подерживая с боков, словно корзину, полную яиц, волокли

двое мужчин, возбужденно повествуя о чудесах Таймсквер. Объяснения сыпались так быстро, а старушка так стремилась уделить всему подобающее внимание, что голова ее каталась по плечам туда-сюда, словно гонимая ветром ссохшаяся кожура апельсина.

— А вот это Астор, мама!

— Смотрите! Вот объявление о гонках колесниц...

— А вон там мы сегодня были. Да нет же!

— Боже милостивый!..

— Будешь тонкий, звонкий и прозрачный, — узнал он популярную остроту, хрипло произнесенную кем-то из протискивающихся мимо.

— Вот я ему и говорю, да *так* говорю...

Мягкий шелест такси и смех, хриплый, словно карканье ворон, в слитной, гремучей смеси с утробным гулом подземки под ногами, а над всем этим — круговращение огня, растущее и гаснущее зарево, огни, рассыпающиеся словно жемчуг и вновь сплетающиеся в сияющие полосы и круги, в исполинские гротескные фигуры, врезанные, всем на удивление, прямо в небо.

Он с облегчением свернул в тишину, которая веяла, как темный ветерок из переулка, миновал закусочную, в окнах которой на автоматическом вертеле безостановочно вращалась дюжина цыплячьих тушек. Из дверей доносился горячий, сладковатый сдобный запах. Следом была аптека, дышавшая ароматом лекарств, пролитой содовой, — и среди всего этого приятный полутон прилавка с косметикой. Потом китайская прачечная, все еще открытая, душная и парная, пахнувшая сложно, чем-то азиатским. Все это нагнало на него тоску; выйдя на Шестую авеню, он зашел в табачный магазинчик на углу — этот был веселым добряком, окутанным темно-синим туманом, призывавшим ни в чем себе не отказывать, и Энтони стало полегче.

Добравшись до дому, он, сидя в темноте у раскрытого окна, выкурил одну из последних за день сигарет. И в первый раз, больше чем за год жизни здесь, признался себе, что в Нью-Йорке не так уж плохо. Определенно, в этом

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА 1

Глава 1. Энтони Пэтч	7
Достойный человек и его одаренный сын	8
Герой, его личность и прошлое	11
Его безупречная квартира	14
И времени не трата даром	16
День	21
Трое мужчин	23
Ночь	28
В Раю (сцена из прошлого)	31
Глава 2. Портрет сирены	35
Женские ножи	47
Беспокойство	55
Прекрасная дама	61
Разочарование	66
Поклонение	71
Пропавшие люди!	75
Глава 3. Ценитель поцелуев	79
Две молодые женщины	88
Бесславный конец шевалье О'Кифа	92
Солнце и луна	100
Волшебство	109
Черная магия	114
Паника	121
Мудрость	124
В промежутке	126

Две неожиданные встречи	127
Слабость	129
Серенада	130

КНИГА 2

Глава 1. Лучезарный час	137
Зенит	141
Три отступления	144
Дневник.	150
Дыхание пещеры	154
Утро	156
Шаферы	157
Энтони.	161
Глория	162
«Сop Amore»	162
Глория и генерал Ли	172
Сентиментальность.	174
Серый дом.	176
Душа Глории	186
Конец главы	192
Глава 2. Симпозиум.	199
Деловые люди.	213
Торжество апатии	217
Зима	227
Судьба	236
Зловещее лето.	243
Во тьме	247
Глава 3. Разбитая лира	272
Ретроспектива	285
Паника.	288
Квартира	294
Котенок.	299
Кончина американского моралиста.	301
На следующий день.	303
Зима тревоги.	306
Разбитая лира.	319

КНИГА 3

Глава 1. Вопрос цивилизации	323
Дот	335
Рыцарь в доспехах	340
Впечатляющий случай	345
Поражение	348
Катастрофа	354
Кошмар	361
Ложное перемирие	365
Глава 2. Вопрос эстетики	370
Козни капитана Коллинза	376
Вопрос доблести	379
Глория одна	380
Генеральский конфуз	383
И снова зима	385
Дальнейшие похождения с «Разговорами по душам»	393
«Odi profanum vulgus»	406
Кино	407
Проба	411
Глава 3. Никаких вопросов!	417
Ричард Кэрэмел	426
Избиение	436
Столкновение	458
С воробышками вместе	461
Примечания. <i>Владимир Щенников</i>	463

Фицджеральд Ф. С.

Ф 66 Прекрасные и проклятые : роман / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; пер. с англ. В. Щенникова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 480 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-07838-3

Фрэнсис Скотт Фицджеральд, возвестивший миру о начале нового века — «века джаза», стоит особняком в современной американской классике. Плоть от плоти той легендарной эпохи, он отразил ее ярче и беспристрастнее всех. Эрнест Хемингуэй писал о нем: «Его талант был таким естественным, как узор из пыльцы на крыльях бабочки». Его роман «Великий Гэтсби» («первый шаг вперед, сделанный американской литературой со времен Генри Джеймса», по выражению Т. С. Элиота) повлиял на формирование новой мировой литературной традиции и был неоднократно экранизирован, причем последний раз — в 2013 году (постановщик Баз Лурман, в главной роли Леонардо ДиКаприо). А вот другой классический роман мастера, «Прекрасные и проклятые», своего рода испытательный полигон перед «Великим Гэтсби», известен российскому читателю гораздо хуже — впервые переведен был только в самом конце XX века и почти не переиздавался. Это досадное упущение необходимо исправить. Итак, познакомьтесь с новыми героями «ревущих двадцатых» — блистательным Энтони Пэтчем и его прекрасной женой Глорией. Дождаясь, пока умрет дедушка Энтони, мультимиллионер, и оставит им свое громадное состояние, они прожигают жизнь в Нью-Йорке, ужинают в лучших ресторанах, арендуют самое престижное жилье. Не сразу к ним приходит понимание того, что каждый выбор имеет свою цену — иногда неподъемную...

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

Литературно-художественное издание

ФРЭНСИС СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД
ПРЕКРАСНЫЕ И ПРОКЛЯТЫЕ

Ответственный редактор Александр Гузман
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ольги Варламовой
Корректоры Елена Шнитникова, Татьяна Бородулина

Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 06.12.2018.
Формат издания 75 × 100 1/32. Печать офсетная.
Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 21,15.
Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93
www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



Y-AKB-15842-06-R



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
АЗБУКА-АТТИКУС

В состав Издательской Группы
входят известнейшие российские издательства:
«Азбука», «Махаон», «Иностранка», «КоЛибри».

Наши книги — это русская и зарубежная классика,
современная отечественная и переводная
художественная литература, детективы, фэнтези,
фантастика, pop-fiction, художественные
и развивающие книги для детей,
иллюстрированные энциклопедии по всем отраслям
знаний, историко-биографические издания.

Узнать подробнее о наших сериях и новинках
вы можете на сайте

www.atticus-group.ru

Здесь же вы можете прочесть отрывки из новых книг,
узнать о различных мероприятиях и акциях,
а также заказать наши книги через интернет-магазины.



ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В МОСКВЕ

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,
факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;
info@azbooka-m.ru

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,
факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В КИЕВЕ

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru
www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей
и творческого сотрудничества
размещена по адресу:
www.azbooka.ru/new_authors/